

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Цена 30 коп.

Литературная газета

Среда, 15 сентября 1937 г.

ОРГАН ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР.

№ 50 (686)

Из воспоминаний

Ялтинская набережная. Внизу тревожно ворочается море. На скамейке, поживаясь от резких налетов штормового ветра, сидит в наглухо застегнутом пальто худощавый пожилой человек. Его лицо с сероватым оттенком слегка приподнято. На тонкой переносице поблескивает пенсне. Иногда он легким движением сбрасывает его и смотрит на прохожих прищуренными глазами с некоторой холодностью и как будто с безразличием. Но это только кажется. Он любит наблюдать и беглым взглядом умеет подметить что-нибудь чудное в походке, в костюме, в лице.

— Смотрите, у этого человека вид жениха, сбжавшего после свадьбы. А вот этот. Честное слово, у него в кармане повестка на деньги от тетки из Тамбова.

И это не насмешка. Это—веселость, которая не покидает сильных духом людей до последних дней жизни. С людьми он мягок, внимателен и чужд какого-либо высокомерия. Знакомится он не сразу, но это происходит потому, что его скромность и застенчивость мешают быстрому сближению с людьми.

Таков поверхностный портрет Антона Павловича Чехова.

Рядом с Чеховым сидят московский писатель, семинарист и вечно юный, непоседливый Сулержицкий. Семинарист в державинском стиле восторгается бушующим морем.

— Ну, непременно — «разъяренная пучина»,—с улыбкой говорит Чехов.— А вы закройте глаза и прислушайтесь. Не кажется ли вам, что сейчас сползли по железной крыше кирпичи от трубы? Жжи! А вот этот грохот: ну, как будто опрокинули колымагу с булыжником.

Семинарист скоро ушел.

— Славный малый,—замечил Чехов. Все взглянули на него с удивлением.

— Да он же поэт!—воскликнул Чехов, делая серьезное лицо.— Он читал мне поэму «Ночь в гефсиманском саду». Послушайте: «и вот свершилось торжество, арестовали божество». Да это же замечательно! Всего две строчки. Я всю жизнь стремился к этому. А его папаша—тоже замечательное лицо. Он пишет сочинение в шести томах: «Божественное учение о сотворении мира из ничего». Шесть, томов!—Чехов не выдерживает. В его глазах брызжет смех.—Как бы я хотел написать хоть один том из ничего!

И, словно боясь, как бы его слова не приняли за насмешку над писательским творчеством, он обращается к писателю: «Писать надо, много писать. Ходите почаще в трактиры и прислушивайтесь. Мне самому вначале трудно приходилось и убыточно: на рубль напишешь, на полтинник напишешь. Но сразу нельзя же».

Чехов вспоминает свои тяжелые годы: отказы, долги, лишения. Это не забывается. Иногда он не прочь пометать:

— Через триста лет в России труд станет свободным. Поверьте, наш народ богат сильными людьми. А пока сколько у нас держиморд и чинуш!

При этом он вспоминает, как выручал свои вещи из таможни по приезде из-за границы. Стесняясь дать денежную взятку придирчивому чиновнику, он предложил ему гаванскую сигару. Чиновник заявил, что не курит, а потом добавил: «А впрочем, позвольте». И взял из коробки целый пяток сигар.

Ветер крепчал, захватывал дыхание. Чехов закашлялся и стал собираться домой: нужно глотать хину.

— Да плюньте вы на медицину,—говорит Сулержицкий.—Вон Толстой, он против вашей латинской кухни и переживет нас всех.

По лицу Чехова пробегает беспокойная гримаса. Он знает, что тяжело болен, но эта тревога глубоко спрятана. Минута,—и у него снова прилив веселости.

— Толстому это можно. Он только писатель. А я врач, и сам не знаю, почему вдруг заделался писателем. Недавно ко мне татарин приводил больного ишака, а третьего дня вызывали к приезжей губернаторше отрубить хвост у фокс-терьера. Если я не буду лечиться, я же потеряю авторитет у населения. К тому ж, вы с

Толстым—мистики. А я человек честный: я верю только в науку. Будьте покойны, на этом чердаке совершенно пусто,—Чехов безнадежно махает рукой по направлению к небу.

Домой поехали на извозчике. Переимчивый Сулержицкий изображает полицмейстера, сопровождающего высокую особу.

— Вы забыли, я же теперь не генерал,—говорит Чехов, намекая на свой отказ от звания академика в знак протеста против исключения Горького из академии.

Сулержицкий восторженно уверяет, что Чехова всегда и везде будут читать наряду с Тургеневым, Мопассаном. К славе Чехов глух. На писательский талант он всегда смотрел как на результат упорного труда.

— Я был знаком с одним учителем математики. Он мог свести с ума своими разговорами об Эвклиде, о Лобачевском, но ни разу не читал гоголевских «Мертвых душ». Я дал ему эту книгу. Через год он мне ее вернул. — «А знаете,—сказал он,— Гоголь не плохой писатель...» Обо мне и этого не скажут. Пройдет десять лет, и меня просто забудут.

Всех, кто приезжает к нему, он ведет в сад. Он любит похвастаться каждым деревцом, посаженным собственными руками. А дом? Он сам руководил постройкой, бегал по лесам.

— Я же настоящий строитель Сольнес. И не шлепнулся.

Чехов избегал говорить о своих новых литературных работах. Если ему нужно было узнать что-нибудь для новой вещи, он делал это между прочим, в разговоре, чтобы никто не мог догадаться об истинной цели его любопытства.

Когда вошли в дом, Чехов начал рассыпаться в похвалах Сулержицкому.

— Да не возражайте, пожалуйста. У вас смелая голова, разносторонность. Вы и в Канаду ездили, и тонкий артист, и правительство можете занозить... А не знаете ли вы какого-нибудь «жестокое» романа с таким отчаянным пошибом? А кстати, покажите фокусы. Ведь вы на все руки мастер.

Сулержицкий садится за пианино. Лицо его принимает деревянное выражение, он берет несколько резких аккордов и диким голосом начинает петь: «Что мне до шумного света, что мне друзья и враги...»

— Замечательно! Замечательно,—повторяет Чехов, захлебываясь от удовольствия.

Приносят карты. Сулержицкий с видом заезжей знаменитости показывает карту:

— Эй, цвей, дрей! — И карта оказалась в кармане Чехова.

— Задумайте какое-нибудь желание,—предлагает Сулержицкий.

— Задумано,—оживленно отвечает Чехов.

— Вы задумали написать комическую пьесу,—говорит Сулержицкий, в упор глядя на Чехова.

Чехов растерянно потоптался на месте и вдруг залился своим милым душевным смехом:

— А ведь вы правы. Без карт пьеса еще может быть, а без музыки и пения—ни в коем случае. Послушайте, вы, может быть, и следователем были?

Неизвестно, было ли это случайностью или Сулержицкий действительно произвел на Чехова впечатление своей импровизацией, но самый романс и фокусы вошли, как эпизоды, в его последнюю пьесу «Вишневый сад».

Уходя от Чехова, все испытывали хорошее, радостное настроение, навеянное жизнерадостным, гостеприимным хозяином. У всех жила надежда, что его бодрый дух отдалит трагическую развязку.

На премьере «Вишневого сада» в московском Художественном театре, когда происходило чествование автора, эта надежда исчезла. Чехов стоял на сцене с осунувшимся, мертвенно бледным лицом и (от слабости едва держался на ногах. Смерть была на пороге. Через несколько месяцев его увезли лечиться за границу, и оттуда долетели последние чеховские слова: ихъ штэрбэ—я умираю.